

Анатолий Гланц

Гринвич-Виллидж

1.

Нам в тисках слоново-трудных
изуверского заката
ниспослал могучий мальчик
им плененные сугробы.

Самый храбрый мцырь на свете
ввез коричневые бревна,
отрешенные богами,
и уключины закатов.

Для дальнейшего знакомства
повороты сновидений
занзибарских муравьедов
подослал коварный отрок.

Кто владеет правдой боен
и неправдой откровений,
кто томатами насыщен,
тот пускай читает это.

2.

Зазвенят в рулетках дзеньги,
засинеют грудой фишки
Сложных бритвенных разрезов
нахлебется сонный воздух.

Одурманенный Гудзоном,
околпаченный бейсболом.

Об Омерике куплеты
сочинял я крепдешинно.
Продаю их вам лимонно
и окучиваю модно.

Гринвич-Виллидж вязнет в снеге.
Воробьи поют, как птицы.
На припудренных карнизах
жестко сплетничают галки.

Хороши и гладколицы
подстаканные кружочки.
Квадратичны и завидны
табуреты темных баров.

Педерасты в длинных майках
лесбианно говорливы.
Небо – модный парикмахер,
дождик сахарный погонщик.

Лесбиянки в тонких шубах
губодлинны и проворны.
Ослепительно ничтожны
фонари на тонких стеблях.

Что б вы там ни говорили,
стужи синтаксис бессмертен.
Громко пользуется вьюга
пунктуацией морозов.

Воскликает шпильки зданий,
запятыя ставит в окна,
точки лепит после жизни
и кавычки в каждом браке.

Всепогодный пегий гринвич
и аляповатый виллидж
подошли ко мне случайно,
обознались, извинились.

Одноногий серый кромвель
и его приспешник черчилль
подошли ко мне отчасти,
утеряв пальто и шапку.

Под косынками галактик,
над бананами созвездий,
Еврипидами событий,
Фемистоклами собраний

жирных всхлипов саксофона
нахлебался сонный воздух
на путях беспозвоночных
дискотек ночного клуба.

Постригусь в монахи света,
повяжу лимонный галстук.
Ты попробуй, вышибала,
на меня взглянуть сурово.

На драконьих спинах моста
у шипучих частоколов
самураи снегопадов
силой меряются с дождями.

3.

Здесь выигрывает пламя
и проигрывает воздух.
Головой битья о стены
отвечают на вопросы.

Че_рно-белую бравадой
ослепительного блеска
мы скользим по Гринвич-смыслу
угловатой процедурой.

Нам навстречу мелким бесом
первобытная наядя
в расклешенной новой плоти,
распирающей теснины.

Беззаботность ее взора
и кочевничество пальцев
бьют оседлость пышных бедер
и округлость мятных икор.

Тут овальность ее ногтя,
лизоблюдство спелых десен,
низкий ромб голеностопа,
пуповинная курчавость.

Вот какая нематода
поднялась из черноземов.
Из внematочных суглинков
проливной земли индейской.

Черным блеском саркофагов,
точным выездом животных,
ненаездом на несчастных,
усмирением безликих.

Горизонты отнимая,
математику тираня.
Числовую ось лелея,
к нам идут пифагорейцы.

Окуните лица в бочки.
Оторвите глаз от павы.

Знамо дева оттопыра
воспалает Междуречье.

Вертикальная углами.
Криволапая стопами.
Распаленная мужами.
Многорукая норами.
Одномерная умами.

Обратимся к Пифагору,
Он такое с детства видел.
Пифагор нам врать не станет.
Пифагор нас всех научит.

Пифагор, козел трехглавый,
ты куда привел науку?
Но писатель Пифагорский
завещал нам теорему.

Пифагор Голеностопов,
Архимед Электрокаров,
Тит Лукреций Помидоров,
Демокрит Рододендронский.

Треугольник Пифагора
был любовный треугольник.
Мало кто об этом знает
и никто не хочет вспомнить.

Пифагор любил Маринок,
зрелых девушек в пижамах.
Целовал их в каждом доме,
приносил охапки далей.

А еще лобзал Наталий,
женщин стройных и замужних.
Целовал их повсеместно,
уनावоживая пашню.

Быв большой любитель неги,
их разбрасывал по кухням.
Впитывая жар пощечин
от мужей, лежал в парадных.

Архимед любил науки
Тит Лукреций буераки.

Большевик страданий моря,
Демокрит изгнаний томных,
тот всегда рыбачил днями.
Кто ж ночами трогал женщин?

Только Пифа Только Пифа
Треугольный, своенравный.
Только Пифа ненадежный
Беззащитных трогал женщин.

Как во всем приличный катет,
он любил гипотенузы
склон и подлинную роскошь
и податливую тела
славил медленную дерзость.
Благодарно из туники,
как фруктовое повидло,
треугольницу бровями
и окружницу глазами
вынимая каждой ночью,
ей заделывал отверстия.

Так, что снова целомудрой
и гнедой спала фигура.

Озирая мутным оком
снизу лестницы пролеты,
голова его обычно
прямо-углов была вершиной,

на ступеньках сладострастья
возлежавшая курчаво.
А пролет гипотенузой
нависал над ним зубчато.

Так под крашеной перилой
мудрый грек, любитель плоти,
завещал нам двоеженство
и любовь не по карману.

Но при чем тут Гринвич-Виллидж?
Не скажу вам, я не знаю.
Ты пойми мои писанья.
Сам их я понять не в силах.

4.

Обнаружились просветы.
Босяки деревни виллидж.
Искрометная богема,
деклассированный люмпен.

Кто с зеленой бородою.
Кто с просительным стаканом.
Кто на улице, уснувши,
кто на паперти сомлевший.

Слушай, бурая лисица
откровения и знаний,
Достоевскому не снились
идиоты этой силы.

Лишь бы выбраться из смысла,
из тупого унисона,
устремляясь к пошлым звездам
в гребешках пожарных лестниц.

Из прозрачного запоя
лишь бы выбраться. Из дыма.
Кенгуру мечтал из сумки
лишь бы вылезти. А дальше?

На песках Копакабаны,
на часах зари бузовой,
чья гавайская рубашка
жирно треплется ветрами,

поднимайся из трущобы,
приготовь лимонный завтрак.
Дай зарок простейшим людям.
Вспомни клятву Гиппократа.

Не забудь наполнить уши
минаретным шумозвоном.
Свечи дальнего пошиба
сбереги к Восьмому марта.

Пидормерия деревни
под названием Гринвич-Виллидж.
Гайаваттная прослойка
киловатт на девятнадцать.

Утепляющая кожу
оголтелая одежда
на тебя взглянула мехом
над подмостками стриптиза.

Мой прекрасный добрый Гринвич,
мой отверженный Гюгоша,
мой аляповатый Виллидж,
лопоухий старый собак.

Черно-бурая еврейка
озарилась пониманьем

губ задавленно прекрасных,
обойдя чужие взгляды.

Прижимаясь ухом в стены,
нашалила искусенно.
Отлюбила перевозданно,
как рабочая засада.

Нашептав слова на брюки,
подарила птичий профиль.
В нем хрустальная медуза,
несгораемое счастье.

Искушение укусом.
Подношение подносом.
Севастопольская битва
за манхэттенские лужи.

Обеспечивая глиной,
Встанут раком синагоги.
Витгенштейновская слава,
времяскользящие подвалы.

Фельдман новых откровений
вытрет нож о бутерброды,
Вандербильт могучих знаний
вытрет ножик о засаду.

5.

Долгих бритвенных разрезов
нахлебался сонный воздух,
одурманенный Гудзоном,
озабоченный бейсболом,

научив меня упруго
подниматься по ступеням

в чесноках зеленой славы
купоросом желтых денег.

Дыней пахнувшая вишня.
Позолота винограда.
И зеленая посуда,
босяки деревни Виллидж.

Как мочащийся пьянчуга,
всяк рассвет неисчерпаем.
В ритме старого цугцванга
поливал фонтан ступени.

Вдох губы пирамидальный
обнаружил зуб жемчужный.
Как рептилия гадюка,
всяк рассвет млекопитающ.

– Я сегодня не одета, –
волновалась Эсмеральда,
дрогнув длинными сосками
под завесой водопада.
– Ну и что-о-о, – запела Ольга, –
– я-а-а одета только сни-и-и-зу!
– Прекрати, – прервала Эмма, –
Я и снизу не Одетта.

6.

Одиночества набатом
Прозвучал колючий Цфасман.
Он приходит, он явился
образцом иных пропорций.

Мцырь, каких народ не видел,
он скользит по эродрому.
Взмах – копною птичьих перьев,
весь – Нью-Йорка зоркий дятел.

В чесноке благоуханий
он учуял запах веры.
В нашатырном дровосеке
отогрел запасы стружки.

Весь – владыка потрясений
в обходительном бесстыдстве.

Среди слов неостроумных,
среди шести галлонов кваса
в острокруглом тихоморье
рыхлой паперти пространства

слово теплое – вестимо.
слово точное – я с вами,
слово верное – сгораю,
и обманчивое – буду.

Вот откуда норы гостя,
отмывающего лица
от усталости дорожной
возле сумки с ремешками.

Это шорохи подземки,
это клетоты в полоску,
это серпики на флаге.
Это лязги метростроя.

Тех же, кто надеть стыдится
диадему умираний,
в сельтерской воде вдыхая
запах кислого завода,

пусть его рифмуют кони
на привалах курской битвы.
Пусть его лелеют свиньи
и метелят аскариды.

Как холере неподвластен
дальномер слепого солнца,
уготованного нивам,
предназначенного птицам,

так владеют суммой знаний
черногубые гидранты,
кислолицы японцы
и обманчивые сидхи.

Внеземные папуасы
и чванливые пигмеи,
обольстительные персы
и презрительные кхмеры.

Чуткоухие антенны
отнимают звук у неба,
жарят шорохи в томате,
моют писки в керосине.

Режут ноты на частицы,
в мандолины их заводят.
Оснащают ультразвуком,
измеряют амперметром.

А потом ножом пчелиным
ван Гроохена из Брюгге
знаменитого хирурга
им присваивают смыслы,

превращая песни мая
и симфонии июля
в оратории апреля
и прелюдии Китая.

7.

Из архивов мыслей пыльных
напрокат возьму я вздохи,
омочу в болотах перья
восхищения страну.

Калифорно жму педали,
за Небраску отвечаю.
Извиняюсь за Вайоминг.
Ухмыляюсь вашингтонно.

Индиана, что там слышно,
Калифорния, не жарко?
Где казачья Миннесотня? –
миссисипло вопрошаю.

Где ютились в Юте гости,
одноруко вытираясь?

Ночью Ева из Айовы
тайно выломала прутья.
Пьет с лезгинами Джорджия,
Мэриленду подпевая.

Из болот из нью-джерсийских
помавая острым клювом,
я хочу понять, Небраска,
с кем вам дышится ночами?

Почему не спит Вайоминг?

А Вайоминг спит с Джорджией.
Потому не отвечает.
Потому не шлет ответов.
Потому не хочет слова.

Через пыль других галактик
я пробрасываю веник.
Я протягиваю шорох
и усматриваю проблеск.

Штольни глаз направив буквой,
ты отыскиваешь повод.
Ты подделываешь почерк
и дописываешь повесть.

Переключка севроштатов
продолжалась днем и ночьюю.
Изо рта страны буквально
вынимали зубы жизни.

А из Юньона из сквера
Пахло гарью вековой.
Лавой медленной вулкана
из страны Оджибуэев.

Чем была вулканов лава?
сковородкой для яичниц.
Здесь вынашивались темы,
выкомаривались букли.

Не подсчитывались средства,
но усматривались суммы.

И служили им подспорьем
Кузя Минин и Пожарский,
серебром стерлинговатым
травы те, что не успели.

Дальним севером Канада,
ниже к югу – мексиканцы.
А мякиш горючий лета
укатился вместе с нами.

То, куда мы появились,
называется поэмой.
Ведь на тонком обороте
лиц, отверженных ночами,
ночевал могучий отблеск
первомайского салюта.

И обжаренные, с луком,
как индейка в жарком гриле,
залегали нежно Штаты
в океана луже синей.

Серединой континента
на куриную похожа,
отбивная в желтом кляре
возле Кубы на цепочке.

Напролом ломая волны
после каждого тайфуна,
атлантическая няня
им спиричу напевала.

8.

Чтобы солнцам было легче
подниматься над забором,
освещая путь кулисам
чудных кукольных театров.
Чтобы вы гуляли смело
за пределы пошлой нормы,
я недавно принял меры:
позвонил премьер-мажору.

Туну жарили мы втуне.
Заправляли баклажаны.
В трех широких грозных чанах
в ночь засаливали брынзу.

Кто-то прятался в Женеве,
обнимая Женевьеву,
куртуазный и певучий,
праздничный, синий и протяжный.

А окукливались люди.
И служили им подспорьем
Кефа, рыжий Мефистофель,
и механик из Продмаша.

Яша, местный парикмахер,
и цирюльник Алигьери.

Ядовитые напитки
из соседнего детсада
он возил на самокате
по заданью управдома.

Упакованный грибами,
гречневой крупой событий,
я стою, как иждивенец
на углу аллеи славы.

Стужа голая изъяла
у меня запасы тела.
Вы во мне свивали гнезда,
вы меня в себе крутили.

9.

Показав земные жвала,
уснащенные помадой,
долго в сумерках вертелся
непролазный сладкий коклюш.

Но из родины любимой
подавали звуки кряквы.

На язык осин родимых
перевел Петрарка Блока.

Там за рюмкой русской водки
карася поджарил Петя.
Шекспирятиною пахло
из народного театра.

Все вокруг чадили роли,
исполняемые скрипкой.
Червоня медальонно,
жадно стиснула Аня
между Стиксом ног и Бронксом
закоулки огневые.

Пионеры Подмосковья
поедали бублик с маком
между делом и цветами
диких пляжей Закавказья.

Из таких как мы чудовищ
образовывались дети,
истолковывались книги
и вытачивались флейты.

Отсобачивались мухи.
Обнадеживались греки.
Отоваривались ламы.
И заламывались руки.

Вьюга дунула по небу
дулом старой митральезы.
Двадцатью тремя углами
к ней процеживались книги.

На причалах пели птицы,
гадя прямо в гарнитуры.

И вздыхали почтальоны,
глядя двойственно в монокли.

Останавливались жизни
и прикармливались рыбы.
Прикарманивались лица.
И пропихивались судьбы.

А играли мной блондинки,
изуверки из Майами,
малахольные туристки
с изумленными ногами.

Расцвели они, как пламя,
из ментоловой засады,
скорчив рожи папуасов.
Оторвав караты жвачки.

У французов на рыбалке
чернорукая цыганка,
улыбнувшись по-болгарски,
щедро выломала франки.

И пошла краснеть вприсядку
застревомая серьгами
в цельновафельные кроны
гуттаперчевых деревьев.

Под быками Бруклин-Бриджа
вновь отваливали судна,
наливаясь позолотой
рукотворного заката.

Изо ртов летели слюни
дубликатами растений.
И у моря на подушку
уложил живот Кальмаров.

10.

Встанут раком синагоги
И окраины Манхэтта.
Разовьет в себе мишени
цель мечтательная жизни.

Скользких струпьев парашюта,
преодолевая ткани,
ты распутаешь смиренно
день за днем этапы счастья.

А полякам вшистка едно.
Вмиг разбились на команды:
два и три, и семь десятых.
И четыре двадцать первых.

Тут румыны набежали.
По-татарски рассердились.
Я уже не сомневался,
полетят на кукурузах.

Полетят на кукурузах
восхищенные румыны,
и мадьярка по Дунаю
набросает в волны раков.

За толстейших мексиканок
и за худеньких японок.
За тоску чужого хлеба,
слишком узкие перчатки.

Нью-джерсийскую невинность,
мэрилендскую нелепость.
Вашингтонскую причастность,
всегудзонскую ворсистость.

За железозадых полек,
за испанские наречья
выношу спасибо морю,
заливную благодарность.

И огромное спасибо
я художнику Мункачи.
И художнику Мункачи
параллельное спасибо.

США

